

ИВАН КОНЕВСКОЙ

ПИСЬМА к Вл. В. ГИППИУСУ

Публикация И. Г. Ямпольского

Иван Иванович Ореус, известный в литературе под именем «Иван Коневской» (1877—1901), и Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941) — поэты раннего русского символизма. К концу 1890-х годов относятся их недолгая дружба, возникшая на почве общих литературных интересов. В дальнейшем судьбы их сложились по-разному. Коневской скоро после этого погиб — утонул во время купания в реке Аа под Ригой. Гиппиус надолго отошел от литературы, ничего не печатал и занялся преимущественно педагогической деятельностью — был одним из известных петербургских словесников; впоследствии издал несколько стихотворных сборников (большая часть — под псевдонимами «Вл. Бестужев» и «Вл. Нелединский»).

В дневнике Валерия Брюсова есть ряд отзывов о стихах обоих. Стихи Гиппиуса он называет «прекрасными», а затем более сдержанно — «любопытными» и «хорошими»,¹ но эти оценки не идут ни в какое сравнение с отношением Брюсова к поэзии Коневского. После встречи у Ф. Сологуба в декабре 1898 г. Брюсов записал в дневнике: «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт». Через месяц К. Д. Бальмонт привез в Москву три тетради стихов Коневского: «Мы все были увлечены, читали, перечитывали, переписывали, выучили наизусть. Я написал ему восторженное письмо». В записи, сделанной весной 1899 г., читаем: «Стихи хорошие. Жду от него много». Наконец о единственном прижизненном сборнике Коневского «Мечты и думы» (1900) Брюсов отзывался следующим образом: «Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий».²

¹ Брюсов В. Дневники. 1891—1910. [М], 1927, с. 17, 54, 57.

² Там же, с. 57, 60, 70, 78. «Вы мой самый любимый поэт в мире», — писал Брюсов Коневскому (Записки Отдела рукописей Гос. Библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 27. М., 1965, с. 11).

Тотчас же после смерти Коневского Брюсов сообщает А. А. Шестеркиной, жене художника: «Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе». И дальше он характеризует Коневского как человека, глубоко понимавшего поэзию, на оценки которого можно было положиться: «Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца».³ В это же время Брюсов напечатал в журнале «Мир искусства» статью о Коневском «Мудрое дитя».⁴ Коневскому посвящены также два проникнутых теплым чувством стихотворения Брюсова, разделенные десятилетием, — «Памяти И. Коневского» (1901) и «На могиле Ивана Коневского» (1911). Заглавие одного из известнейших циклов Брюсова «Правда вечная кумиров» (сб. «Stephanos» — «Венок») заимствовано у Коневского, из его стихотворения «К пластику»; строка из этого стихотворения «Познал ты правду вечную кумиров» взята в качестве эпитафии к циклу. О «значительном влиянии» на него Коневского Брюсов писал в своей автобиографии: «Коневскому я обязан тем, что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении — его философский или истинно символический смысл <...> Коневской своим примером, своими беседами заставил меня относиться к искусству серьезнее, благоговейнее, нежели то было „в обычае“ в тех кругах, где я вращался прежде, не исключая и кружка Бальмонта. Бальмонт любил поэзию, как любят женщину, страстно, безрассудно. Коневской поэзию чтл сознательно и поклонялся ей как святыне».⁵

Вообще Коневской был одним из немногих поэтов-современников, отношение к которым Брюсова было устойчивым.

В 1904 г. при его ближайшем участии в издательстве «Скорпион» вышло Собрание сочинений Ив. Коневского.⁶ Здесь была перепечатана в расширенном виде статья Брюсова из «Мира искусства». Брюсов послал книгу Вячеславу Иванову и через некоторое время спросил его: «...каково ваше впечатление? Он пытался сделать (в языке) кое-что из того, что вы свершили». В ответ, поблагодарив за подарок, В. Иванов писал: «Меня влечет — но и пугает трудностью тонкой задачи — написать в свою очередь что-нибудь о нем. Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным. C'est une révélation».⁷ Иванов о Коневском ничего

³ Литературное наследство. т. 85. М., 1976, с. 646—647.

⁴ Мир искусства, 1901, № 5.

⁵ Цит. по: Русская литература XX века (1890—1910). Под ред. С. А. Венгерова, т. 1. М., 1914, с. 112. О дружбе с Коневским, которой он, «к сожалению <...> не успел или не сумел воспользоваться в полной мере», Брюсов вспоминал и в автобиографической заметке, помещенной в «Книге о русских поэтах последнего десятилетия», изданной под редакцией М. Гофмана (СПб.—М., [1909], с. 63).

⁶ Коневской Ив. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М., 1904 (далее эта книга называется сокращенно: изд. 1904 г.).

⁷ Литературное наследство, т. 85, с. 446—447. C'est une révélation — это откровение (франц.).

не написал, и можно только догадываться о том, что привлекало его в рано погибшем поэте.

Очень знаменательно блоковское восприятие поэзии Коневского, уже отстоявшееся и достаточно продуманное. О Коневском — добрая половина рецензии Блока на поэмы А. Л. Миропольского (А. А. Ланга) «Ведьма» и «Лествица», напечатанной в январе 1906 г. Блок считал Коневского характерной фигурой для того этапа русской поэзии, когда она от «собственно декадентства» начала переходить к символизму. «Одним из признаков этого перехода, — по словам Блока, — было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой. Как будто впервые добытатель руды ощутил на своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился, уйдя, казалось — безвозвратно, в глубь собственной души. Иван Коневской именно „на миг и тем — на век“ вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на „размеры дальних расстояний“. Он полюбил „несокрушимой“ любовью родные, кривые проселки в чахлах кустиках, ломаные линии горизонтов, голубую дымку дали; он понял каким-то животно-детским, удивленным и хмельным чутьем, что это и есть — Россия».⁸ Блок говорил о Коневском такими проникновенными словами, словно о своих собственных чувствах и переживаниях. И действительно, то, что он увидел в Коневском, было интимно близко и родственно ему в это время.

Почти через два года, в конце 1907 г., Блок снова вспомнил о Коневском в статье «О современной критике». Здесь речь идет о другом — не о переходе от декадентства к символизму, а о том, что «символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух „келий“, им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы». «Современные символисты, — читаем дальше, — ищут простоты, того ветра, который так любил покойный Коневской, здорового труда и вольных дум».⁹

Приведенные факты — а количество их можно увеличить — говорят о том, что поэзия Коневского и самая его личность оставили существенный след в сознании современников.

Два публикуемых ниже письма Коневского (ИРЛИ, ф. 77, архив В. В. Гиппиуса, № 14) очень различны и по своему содержанию, и по своему тону. Первое относится к 1898 г., ко времени дружеских отношений с Гиппиусом, и этим объясняется желание Коневского поделиться с ним нахлынувшими впечатлениями от заграничной поездки;¹⁰ второе знаменует собою полный разрыв.

Первое письмо не только передает конкретные переживания путешественника, но наряду со стихами и прозой Коневского рисует его фило-

⁸ Золотое руно, 1906, № 1, с. 149. Цитирую по «Золотому руно», поскольку именно в это место в «Собрании сочинений» вкрался меняющие смысл опечатки. «Размеры дальних расстояний» — из стихотворения Коневского «В езде».

⁹ Блок А. Собр. соч., т. 5. М.—Л., 1962, с. 206—207.

¹⁰ «В 1898 году он отправился морем в Любек, потом в Кельн, проехал по Рейну до Гейдельберга, оттуда в Швейцарию и в Северную Италию и возвратился <...> через окрестности Зальцбурга» (Иван Коневской. Сведения о его жизни. — Изд. 1904 г., с. IX).

софию природы, говорит о природе как о чем-то одушевленном, как о некоем целостном организме, о ее таинственных силах, лишь смутно ощущаемых человеком и тревожащих его сознание. В ней есть нечто сказочное, легендарное, мифическое.

В письмо вклинены стихи Коневского, незадолго до этого написанные, внушенные теми же впечатлениями. Сам он подчеркивал таким образом их общность. Вместе с тем письмо тесно связано с его прозой. По-видимому, именно из писем Коневского рождались его прозаические наброски, очерки, своеобразные стихотворения в прозе, напечатанные в довольно большом количестве в его сборнике «Мечты и думы». Об этом с полной очевидностью свидетельствует сопоставление письма с некоторыми из них: «В горних» (с. 67—68), «Крайние столпы» (с. 70), «Разум моря» (с. 129—131) и др. Сходны многие мотивы, самая манера описания, живописная, красочная (здесь сказалась страстная любовь Коневского к живописи); совпадают и многие детали. Интересно сравнить, например, слова в письме о волхвах и чародеях с соответствующим отрывком из «В горних»:

Как живые существа, неосвещенные солнцем, возлетали прямо на моем пути толпы облак. Вдруг в одном месте, прямо передо мной, млечный пар их как будто мгновенно уплотнился и обратился в кристалл — крепкий, зернистый, белоснежный, конического облика. И тут же с дивной радостью сказалось мне, что это — глава владыки тех белых волхов, что, древние как мироздание и вечно свежие, юные, гадают в ясных небесах и поют им хвалу <...>

С возрастающей радостью я двинулся вперед, выше — и вскоре приоткрылись из-за облачного покрова еще такие же седые чародеи в их остроконечных белых тиарах. Когда же облака кругом слегка рассеялись, грозное чувство присутствия чародеев исчезло, и открылась душе в явленном ей зрелище обитель небожителей — ясная, тайная, строгая, а перед ней были смутные области облаков — преддверия небес, limbo древних христианских верований.

Над этими склонами возлегли гряды громадных кудрявых облак. Как живые, взирали они. Я отвечал на их взоры, и вот на моих глазах облачный пух в одном месте своего состава уплотнился в дивно блистающий кристалл — белоснежный, крупный, зернистый. Через миг я понял, что это — глава белого волхва, который, древний как мироздание и вечно юный, волхвует там, в ясном эфире <...> С чудной радостью двинулся я к нему навстречу, и вскоре из-за облачного покрова выступил целый сонм его собратьев по волхвованию. Тут я почувствовал перед собой обитель небожителей; а этот мир облак, прямо уже как бы путь мне застилавший, представлялся на рубеже тех небесных чертогов смутными обителями, подобными «limbo» древних верований.

Отрывку письма от слов «Приходилось огибать редкий выступ горы...» очень близки «Крайние столпы»: здесь и внушающие страх «мертвые волны», которые вот-вот «захлынут» человека, и одолевающие душу, как наваждение, пласты льдов, и обитель бессмертного Кощея, не говоря уже о сходстве общего колорита и настроения. Начало письма — о море, его беспредельном просторе, легкости, чистоте — переключается с «Разумом моря» (в котором кое-что прямо почерпнуто из письма).

Естественно, что отрывки из письма включались в печатный текст не механически, а в переработанном виде, иногда дополнялись, но большей частью сжимались и уплотнялись.

Наряду с чувством природы, которое (впрочем, не одно оно) сближало Коневского с горячо любимым им Тютчевым, ему было присуще и чувство истории, сказавшееся отчасти в отрывке о Кельне и его соборах с его историческими реминисценциями. Этот отрывок вошел в очерк «Кельн», также напечатанный в сборнике «Мечты и думы».

Второе письмо совсем другого характера. Это — личное объяснение с Гиппиусом, полное упреков и обвинений. Поводом для этого письма послужили рецензии Гиппиуса на «Книгу раздумий», в которой были объединены стихи Бальмонта, Брюсова, Коневского и поэта, художника и архитектора Модеста Дурнова (1899), на «Мечты и думы» Коневского и «Сборник стихотворений» Б. В. Никольского.¹¹

Если в первой рецензии говорилось: «Стих Ив. Коневского, не чуждый поэтического движения, выразителен, но уродлив», то во второй, специально ему посвященной, содержались гораздо более резкие и обидные по своей форме суждения. «Язык (...) до того безграмотен, стиль перьяшлив и последовательность самых мыслей до того уродлива, — писал Гиппиус, — что чтение книжки и чрезвычайно трудно, и неприятно. Каковы бы ни были вкусы и убеждения писателя, каковы бы ни были его способности, — одно стоит вне всякого сомнения, одно совершенно необходимо: он должен писать грамотно, развивать мысли последовательно, выражаться с возможной точностью, ясностью и даже изяществом. До этих черт и стихи и проза не имеют места не только в поэзии, но и вообще в литературе».

Приведя ряд цитат, Гиппиус в заключение заметил: «До тех пор пока Ив. Коневской не научится писать грамотнее, все, что бы он ни написал, останется вне литературы. „Мечты и думы“ нельзя *оценивать*, потому что такие стихи и такую прозу невозможно читать; по крайней мере для этого требуется большое усилие, а усваивать их содержание — даже труд. В чем же речательство, что труд окупится глубоким смыслом их? Доброжелательная критика в лучшем случае может признать за „Мечтами и думами“ и всеми подобными сборниками значение ученых работ, выполненных неудовлетворительно».

Не говоря уже об обидных словах, Коневской не мог, разумеется, согласиться с призывом к ясности и даже изяществу, поскольку его поэтические искания лежали в иной плоскости и известная затрудненность языка и синтаксиса была естественной особенностью его поэтического мышления (недаром Брюсов писал Вяч. Иванову, что Коневской кос в чем предвосхитил его).

Коневской упрекал Гиппиус и в неискренности. Ссылаясь на личные беседы, он утверждал, что Гиппиус называл Дурнова «талантливым»; в рецензии же на «Книгу раздумий» читаем: «г. Дурнов, судя по напечатанным в сборнике стихотворениям, вовсе не имеет литературной способности». Но главное — оценка Бальмонта, поэзию которого Коневской решительно не принимал. 21 сентября 1899 г. Брюсов записал в дневник:

¹¹ Мир искусства, 1900, № 5—6, с. 107—108 (подпись «В.»).

«Спорили с ним (Коневским, — И. Я.) много о Бальмонте, которого он отрицает».¹² Для Коневского Бальмонт — наиболее поверхностный и легковесный и потому наиболее популярный из современных поэтов. Гиппиус, по его словам, разделял его взгляд на Бальмонта и не раз выражал свое отрицательное отношение «к этому поэтическому фокуснику», а теперь из четырех поэтов «Книги раздумий» дал ему самую снисходительную характеристику. В этой рецензии о Бальмонте говорится, что он «владеет плавным, но не всегда выразительным стихом, несколько чуждым поэтического движения». Может быть, Коневской и преувеличивал, но нечто справедливое в этом упреке есть.

Что произошло между Коневским и Гиппиусом — нам неизвестно. Еще 30 октября 1899 г., приглашая к себе Ф. Сологуба, Гиппиус сообщал: «У меня будет один прекрасный юноша и прочитает свой рассказ <...> Придет и Ореус». А через полтора месяца, 15 декабря 1899 г., он писал тому же Сологубу в совсем другом тоне: «Получили ли Ив. Коневского, на которого я задумал написать статью в „Мир искусства“ — и не могу. А книжка достойная быть выруганной, что я сказал сочинителю, по он не согласен и говорит, что — очень хорошо. А что хорошо?»

Во-первых — серая бумага.

Читаешь — сотни опечаток.

Стих — такая ерунда.

Ритмы — надгробье и в лоб я; язык чухонский, нудный, трудный, мысли средние, а до чувства не доберешься... Зачем взял эпитафию из меня, когда я еще не печатал? да еще подписал не именем — Вега? за что? А в посвящении Леса — Владимир Г. Совсем обкорнал. Уж за одно это стану ругать».¹³

Судя по словам об эпитафии и посвящении и общему тону письма, были какие-то причины для личного раздражения, тем более что оба не отличались покладистым, уступчивым характером. О «самоуверенности» молодого Гиппиуса писал Брюсов.¹⁴ «Самоуверенным и претенциозным» назвал его в своих воспоминаниях П. П. Перцов.¹⁵ В биографии Коневского читаем: «С свойственной юности самонадеянностью он пытался разрешить трудно или вовсе неразрешимые вопросы и при цельности его природы, не допуская никакой компромиссов, мучился этим». Тут же отмечается его «чрезмерная нервность».¹⁶ Но дело не ограничивалось угловатостью натуры и личными обидами.

В. В. Гиппиус был хорошо знаком со своей дальней родственницей Зинаидой Николаевной Гиппиус-Мережковской и бывал у Мережковских. З. Н. Гиппиус же в это время вела борьбу с «декадентством», как она его понимала, противопоставляя ему религиозную общественность. И В. В. Гиппиус оказался в русле этих идей. Впрочем, еще летом 1897 г.

¹² Брюсов В. Дневники, с. 76.

¹³ ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, № 185, л. 5, 7—7 об. «Лесом» Гиппиус называет посвященный ему цикл «Дебри». Буквы «В. Г.» стоят под эпитафией к циклу «Бледная весна».

¹⁴ Брюсов В. Дневники, с. 24.

¹⁵ Перцов П. П. Литературные воспоминания. М.—Л., 1933, с. 241.

¹⁶ Иван Коневской. Сведения о его жизни. — Изд. 1904 г., с. VIII.

Ф. Сологуб писал ему: «... Вы, к моему искреннему прискорбию, в последнее время начали отмечать декадентство. Это — влияние Мережковских? и особенно Зинаиды Николаевны? <...> В Вас, кажется, засела злосчастная мысль о том, что время изменилось, что-то такое вышло из моды, нужно что-то иное, новое и т. д. <...> Впрочем, З. Н. серьезно думает, что декадентство только в том и состоит, что какие-то шалопуты видят звуки и любят зло».¹⁷ По всей вероятности, через два с лишним года как декадент стал восприниматься и Кожевской.

Заслуживает некоторого внимания и следующий факт, сам по себе не очень значительный. Через полгода после рецензий В. В. Гиппиуса в том же «Мире искусства» появилась статья З. Н. Гиппиус «Торжество в честь смерти» — по поводу трагедии П. Мипского «Альма». Во вступительной части статьи она писала о «так называемом „повом, декадентском“ нашем направлении», и в частности заметила: «Едва ли может иметь значение поэзия Брюсова, Добролюбова или Бальмонта (Бальмонт, впрочем, отличается от других трудолюбием, желанием — быть посерьезнее, и это уже слава богу). Но вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов не только нет пового, но даже полное забвение старого, старой, бессознательной мудрости» и т. д.¹⁸ Здесь интересна одна деталь: более снисходительное, как и у В. В. Гиппиуса, отношение к Бальмонту по сравнению с начисто отрицаемым Брюсовым.¹⁹

Но мы располагаем и прямыми указаниями В. В. Гиппиуса. В своей автобиографии «О самом себе» В. В. Гиппиус, рисуя путь своего духовного развития, сообщает, что Н. М. Мипский представил его и А. М. Добролюбова Мережковским. «Мережковские, которые Добролюбова отвергли, а меня сначала бурно крестили, а потом тоже отвергли в своей вечной борьбе с литературой, пока я не начал „отречься от декадентства“. Мое декадентство было принято без всяких оговорок только Сологубом, с которым я сблизился после первой же встречи в „Северном вестнике“. И еще в кружке, откуда через несколько лет вышел „Мир искусства“ (Бенуа, Дягилев, Сомов, Философов). Но в журнале „Мир искусства“ я сотрудничал очень мало, потому что уже уходил из литературы, когда он начался...» Скоро я отошел и от Мережковских <...> Дольше всех оставался с Сологубом; грубо разошелся с Ореусом (Кожевским), который меня так нежно любил. (Один из моих смертных грехов. Все из-за того же «отреченья»)».²⁰

¹⁷ ИРЛИ, ф. 77, № 21, л. 1, 2 об.

¹⁸ Мир искусства, 1900, № 17—18, с. 87.

¹⁹ Кожевской резко реагировал на суждения З. Н. Гиппиус; см. его статью «Об отпевании новой русской поэзии» в альманахе «Северные цветы на 1901 год» (М., 1901, с. 180—188).

²⁰ ИРЛИ, ф. 377, собрание автобиографий С. А. Венгерова, 2-е собр. Отмечу попутно, что автобиография Гиппиуса представляет большой интерес для исследователей символизма. Декадентство он открыто предпочитает символизму, видя в последнем самоуспокоенность, смирение и т. д. «Одинокий декадентский бунт превратился в многолюдный журфикс». Путь «к тому благодушью, которое получило название символизма», Гиппиус считает пагубным для литературы. «То, что живо в символизме, — пишет он, — то не только родилось, но и жило в декадентстве. То, чем отлича-

Уже приведенное выше письмо Сологуба говорит о том, что изменения в литературных взглядах и оценках Гиппиуса подготовлялись постепенно. И в этой связи небезыптересно также и то, что он отказался от участия в «Книге раздумий».²¹

По всей вероятности, после второго из публикуемых писем не только дружба, но и вообще какие-либо отношения между Копевским и Гиппиусом прекратились. Во всяком случае 3 мая 1900 г. Копевской писал Брюсову, что с Гиппиусом, «вероятно, больше не будет личных отношений».²²

Однако через много лет, в память о бывшей дружбе, Гиппиус посвятил Копевскому ряд стихотворений.²³

В архиве В. В. Гиппиуса сохранилось еще восемь коротеньких писем и записок Копевского. Большая их часть — уведомления о том, что он не может воспользоваться приглашением Гиппиуса прийти к нему, так как занят, и т. п. Три записки — без дат. Даты других: 29 мая 1898 г. (сожалеет, что перед отъездом им не удастся встретиться: «завтра <...> я около шести часов вечера всхожу на пароход»; упоминаются очерки Копевского о современных французских лириках и современных русских лириках), 27 декабря 1898 г., 6 марта 1899 г. (просит прийти — «быть может, будет и Сологуб и другие лица»), 16 апреля 1899 г. (сообщает между прочим, что он «ездил на несколько дней в Финляндию, верст около 20 за Териоки (в одно место, где поселился на весну Н. М. Соколов)»)²⁴ 30 октября 1899 г. В одной из недатированных записок Копевской предлагает Гиппиусу познакомиться с Ф. А. Лютером,²⁵ в другой просит доставить хоть на несколько дней рукопись переданной Гиппиусу статьи.

В том же архиве, под тем же шифром, находятся автографы ряда стихотворений Копевского 1899 г.: «Сон борьбы», «Пред светлой почью», «Крайняя дума», «Песнь изгнанника», «Порывы» (1. «Если вмотришься

ется символизм от декадентства, в этом слабость символизма, а не сила». В статье об А. М. Добролюбове (Русская литература XX в. Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1914, с. 277) Гиппиус писал об этом совсем иначе.

²¹ Об этом Копевской известил Брюсова в январе 1899 г. (ГБЛ, ф. 386, карт. 97, № 8; сообщено А. В. Лавровым).

²² ГБЛ, ф. 386, карт. 97, № 9 (сообщено А. В. Лавровым).

²³ См.: Бестужев Вл. Возвращение. [СПб.], 1912 (раздел «Преходимость»); Нелединский Вл. Томление духа. Пг., 1916 (LXIX. Ив. Копевской («Ореус милый, отрок прозорливый...»)).

²⁴ Соколов Николай Матвеевич (1860—1908) — поэт («Стихотворения». СПб., 1899), критик, автор книг «Иллюзии поэтического творчества. Эпос и лирика гр. А. К. Толстого» (СПб., 1890) и «Лирика Я. П. Полонского» (СПб., 1898), переводчик произведений Канта, Шопенгауэра и др., цензор С.-Петербургского цензурного комитета. «Работу по собиранию рукописей, сличению их и подбору вариантов исполнил Н. М. Соколов», — значитса в предисловии к «Стихам и прозе» Копевского (с. VI).

²⁵ Лютер Федор Александрович — филолог-классик, преподаватель древних языков, учитель Копевского в 1-й Петербургской гимназии. Лютеру посвящены четыре стихотворения Копевского — «По дням» («Есть не только тайны заката...»), «Две радости» («Когда душа сорвется с высоты...»), «Силы» («Вейте, силы божи...») и «Ты миром удивлен, ты миром зачарован...».

в дальнее небо...»; 2. «Мыслей пастойчивых воля...»), «Прояснение», «Осенний голос» («По обширным полям моих дум...»). Некоторые, например «Порывы», с вариантами; другие дают возможность уточнить дату создания: так, «Соп борьбы» датирован 28 мая 1899 г., а «Осенний голос» — 30 августа 1899 г.

1

2 июля 1898.
Люцерн.

Милый собрат мой,
Владимир Васильевич!

Пишу Вам с довольно многозначительного перекутья в моем странствии. За мной — в прошлом, — как мне кажется, зенит того нового дня жизни, в который я вступил с начала нынешнего лета.

Из воздуха житейских хлопот и городской пыли я неожиданно очутился на небольшом судне, на ясных водах. Я оглянулся: справа видна была узенькая коса, в мелком хвойном кустарнике, впереди ничего уже не было, кроме вод, без конца и края. Еще минута — и справа тоже — только море, море во всю ширь. На небе было много белых облак, кое-где лишь оно синелось, вдалеке белелись паруса. И как все было бело, свежо и вольно!..

Столица, со своими гаванскими пустынями, незаметно сгнула с глаз. Все уже было очищено, все дышало свободно.

Первый день в этом новом мире был самый отградный. Так хорошо было потерять из виду и дерево, и камень, и песок земли, и ничего не чувствовать кругом, кроме вечной и тихой зыби. Безбрежная вода обаевала тем, что она была так нежна и чиста — не как топорные предметы земли: нежна и чиста, и цвет ее был неуловим, особенно в тот темневший слегка грозovým отливом день. Да, небосклон впереди темнел и снова слегка светлел, но весь мир стал для меня так явен, открыт. И много темного и грозного было там впереди, это был горизонт суровый и непреклонный, но море так свободно и без раздумья уносилось к нему, и он был так прост и прям, что и в душе замирали возмущения. Осеняла ровная безмятежность, становилось легко на душе.

И в следующие дни я научался понимать и ценить ту великую легкость моря, которая рождает и негу, и чистоту, и гармонию его. Легкость эта — конечно, верховная свобода, которой не дано твердой земле. Но так живо мне уже не суждено было ощутить в себе самом, как в тот первый день, когда у меня сложились стихи:

С душой, насыщенной веками размышлений,
С чужими образами, красками — в уме,
Которыми я жил в степях, в домашнем плеле
И воздух освежал я в затхлой той тюрьме;

Тебя почувал я и обнял взором, море!
Ты обдало меня, взяло и унесло,
И легок я, как луч, как искра в метеоре,
И жизнь моя — вода: в ней сумрачно-светло.

Все ветер да вода... И ясно все, и сумно.
Где умозрений ткань? Молчит, по явен мир
И вьются помыслы, так резво и безумно,
Туда, за даль, где мысли — вечный мир.¹

Северное море — вечно холодное. И под лучами солнца оно не нежится. Только светом его оно сияет, гордо отвергая жар.

И холод этот еще более придает строгого и трагического величия его ясности. Помню один бледный, ясный и торжественный полдень. Геометрически правильно опоясывался оставшийся позади полукруг горизонта синеватыми облаками, передний полукруг сиял. И вверху, над острыми мачтами, твердь была чиста. Волнение кругом было ровное, плавное и широкое. Наш и волен был весь этот голубой мир.

Чуть-чуть удалось учуять мне дух моря, а как пришлось въезжать снова а берега, так и жаль его стало и тут же сказало-сь душе, что не по плечу человеку тот морской дух.

В первые минуты въезда в бухту, потом в неширокий канал, в сердце закралось тоскливое чувство. Впереди опять трава, холмы, опушки лесов, кругозор всегда загражден какой-нибудь заветной чертой, а там за ней все что-то предчувствуется, и туда устремляются робкие мечты человека. И со всех сторон ютятся и примащиваются поселения, жмутся в кучу дома. Краски пестрые и резкие. Все сперто и мелко. А там, позади, миновал восполненный гармоничный мир — морской простор. Благородная и гордая стихия, чарующая нежными переливами, подалась под напором нестройной, мятущейся и неуклюжей земли.

Свидание с землей было в эти первые минуты грустное. Но чем дальше корабль в нее проникал, тем живее узнавались тайные и глубокие чары родной стихии. Все явственнее сознавалась вновь правда ее уродливого бытия, ее насытых стремлений и боязливых упований.

После дней на море я на несколько дней попал в атмосферу самых что ни на есть человеческих, исторических настроений. Я бродил по неправильным тесным проулкам, среди мрачной каменной старины Кёльна. Весь город и особенно венец его — великий собор — давали мне яркое представление об архиепископской столице средневекового, римского христианства. Но в то время как собор, от которого захватывает дух, являл великолепный памятник самого папистского и готического периода средних веков, воинствующего и подвизающегося, рыцарского и уставного,

многочисленные романские храмы Кёльна веяли на меня грустным и свежим воздухом утра христианства в средней Европе. Нежно трогали душу их сплошные фрески первобытного письма, низкие и плоские своды вроде навесов, поддержанные неуклюжими колоннами, как бы из красно-бурого или мутно-зеленого глинозема. С этих стен к человеку, как к малому ребенку, обращались строгие, кроткие и втайне печальные наставники, просто-душно, но мудро и во всей полноте понимавшие душу и жизнь. Вся эта живопись, с ее мягкими тонами — голубоватыми, зеленоватыми и сизыми, она могла служить этим несмыслящим детям чем-то вроде картинок для наглядного обучения заповедям Божиим. И живо и свежо могла здесь впервые раскрыться младенческая душа к ощущению тайны, к предчувствию всего круга жизни, потому что в строителях этого храма были еще живы воспоминания о первых откровениях великих учителей церкви.

Но для питомца многих культурных поколений в чистосердечной ясности грустного и смиренного чувства жизни, что дышит в этих романских храмах, представляется нечто пленительное и устрашающее. Здесь — бог совсем недостижимый и непостижимый, но страшно живой и, когда угодно его воле, близкий людям, как родной отец. А печальная тайна человеческого бытия — во всей ее немой наготе.

Поднявшись от Кёльна вверх по Рейну до Майнца, потом прожив неделю в Гейдельберге, в общении с двумя близкими знакомыми моими (Семеновым, о котором я Вам говорил как о выдающемся мыслителе, и раз виденным Вами Нольде²), я, наконец, достиг Швейцарии; тут дня три я задержался в Базеле, родине Бёклина, из-за хранимых там картин его, гораздо менее многочисленных, чем я думал, но — в отдельности — из наиболее замечательных в его творчестве. (Там, между прочим, выставлена его «Священная роща», которую Вы, верно, видели в снимках: вереница белых священнослужителей, приближающихся к квадратному жертвеннику, на котором курится фимиам, и только, и жертвенник этот — в небольшой, но все углубляющейся вдаль роще; ее обносит ограда, а за оградой и сквозь стволы темных деревьев виден сияющий день древнего мира: нежное фиалково-голубое небо и белоспелые колоннады храма).³

Из Базеля я прямо уже направился в горный край Швейцарии. На пути из Базеля в Люцерн, как видение среди бела дня, возникли внезапно, за каким-то поворотом дороги, высокие серые призраки — первые гряды скалистых, а вскоре и снежных гор. Так же как и в прошлом году, это неожиданное зрелище внушило мне трепет удивления. Но в прошлом году, когда эти живые тени заколыхались передо мной вдали, было — я помню — пасмурное утро. А теперь сияла светлая пополуденная пора. На небе покоились, как изваяния, удивительно выпуклые клубы облаков. Такие плотные и сомкнутые воздвигались они на неослабном воздухе, что и в их действительность не верилось. Под

ними раскидывались залитые светом злачные луговины и пышные холмы. И тут же, вдали, но въявь всплывали те неведомые призрачные громады, все — озаренные живым ясным солнцем. Казалось, точно воочию явлены на божий свет все темные тайны туманных далей.

На другой день я был уже обступлен со всех сторон хаосом высей, и то и дело меж каменных громад показывались благоговейные белые пирамиды. Первое чувство от пребывания в этих областях я лучше всего могу передать в следующих строфах:

Витаю я в волшебной атмосфере,
Где так недостижимы небеса,
Но предано все мощной, чистой вере,
И где отшельник слышит голоса.

Отшельник утра, радостный и свежий,
И дух, потоков пенных властелип,
Они одни раскинули здесь вежи,
И не слышать ни звука из долин.

Дышу я робко в царственных чертогах,
Пока торжественно сияет день.
Но сумрак снизойдет и ляжет в логах,
И по горам прострет святую тень.

И эта тень, и синь ее густая
Меся благословеньем осенит,
И я пойму тогда, в горах витая,
Что принят я в их величавый скит.⁴

Шесть дней я бродил в глуши горного края — так и называемого Berner Oberland. Неизмеримые стремнины низвергались и глубины таились за мной. Струи широкого и затаенного воздуха, веющего в них и из них, доносились до меня, как бы прибывало их со всех сторон к возвышенным уступам, на которые я уже был вознесен. Взоры трепетно блуждали по необъятным валам и крутизнам, носились над глубями, тонули в дальних развесившихся мглах. По громадным откосам разливались матовые зеленые и иззелена-черные леса и кущи, а дальние вершины казались сотканы из темно-синей дымки или бледно-сизого эфира. Вся глубь оставшихся подо мной и за мной ущелий дышала сквозь стволы придорожных елей такими же дивными нежно-синими дымками. И нагорная тропа ежеминутно содрогалась, и неведомые очарования предчувствовались тайком за каждым обрывом, нависшим над тропой. Ведь вышняя черта этой кручи, это был порог неба, видно было, что, достигнув до нее, останется лишь устремиться в просторы небес. А чуть огромный выступ был обогнут, впереди выше как из-под земли возносились новые уклоны. Небо тянули дальше за собой, по впереди зрима была снова роковая грань. И еще властнее звала туда, к себе восторженная голубая ширь.

После того что в теснине ущелий дух рос, захватывался и вздымался отовсюду надвинувшимися громадами круч и кряжей, мне случалось очнуться в недоступных обнаженных областях: туда, взвалив на себя, переносили меня чудовищные рамена гор. Там утверждались одни лишь сомкнутые и стройные рати черных елей; шаг за шагом шли они на приступ вышних гребней. Всякая другая растительность отторгнута была книзу властью горных высот. Как живые существа, неосвеченные солнцем, возлетали прямо на моем пути толпы облак. Вдруг в одном месте, прямо передо мной, млечный пар их как будто мгновенно уплотнился и обратился в кристалл — крепкий, зернистый, белоснежный, конического облика. И тут же с дивной радостью сказалось мне, что это — глава владыки тех белых волхвов, что, древние как мироздание и вечно свежие, юные, гадают в ясных небесах и поют им хвалу. Никогда еще не являлся мне никто из них в такой близи, в такой страшной близости.

С возрастающей радостью я двинулся вперед, выше — и вскоре приоткрылись из-за облачного покрывала еще такие же седые чародеи в их остроконечных белых тиарах. Когда же облака кругом слегка рассеялись, грозное чувство присутствия чародеев исчезло, и открылась душе в явленном ей зрелище обитель небожителей — ясная, тайная, строгая, а перед ней были смутные области облаков — преддверия небес, limbo древних христианских верований.⁵

Дорога неустанно вилась вдоль по кочковатым буграм, между бурой земли и жидкой травой. За небольшой гостиницей, последним переулком перед крайним перевалом, я был принят в лоно всеобъемлющих туманов. Ничего не стало, кроме холодных белых паров и мглы. Чуть-чуть темнелся впереди отлогий склон дороги. А справа подчас прокладывали себе путь через завесы мглы бледно серебрившиеся выси.

Все вокруг меня колыхалось, и волны холодного воздуха разносились повсюду, и все было невидимо, все было глухо. А в то же время было так широко и вольно. Пары пронизывали холодом, и по телу струился холодок торжественного ужаса. Бедны дышали прямо в лицо.

На перевале, где я ночевал, я, когда уже совсем объяла ночь, вышел на крыльцо, и меня охватил и запахнул необъятный, куда ни взглянуть, мрак — белый и холодный.

Настало утро, такое же холодное, хмурое и серое. Открыто лежал окрестный край, странный край. Темные нагие пригорки, вроде крепостных валов или насыпей, между ними — лоцинки и доли, вроде рвов и траншей. Мечталась безлюдная местность вокруг уединенного укрепления, угрюмого стража крайних пределов каких-нибудь дальних степей.

Пока я пробирался среди обрывов и рвов, по грязной земле и жесткой серой траве, глухой край представился еще страннее и диче. Там, у подножья бледных склонов, чувствовались воз-

Душные бездны, там дымился и бродил туман, подчас среди него виднелись страшные отвесные кручи. И все летело куда-то вниз головой, горы обваливались на облака, облака — на горы. Только там, далее всего, преграждая все остальное, выплывали из какой-то неизмеримости высоко протянувшиеся стены утесов. Тут они простирались серые, темно-серые, там их беспорядочно пересекали поля белых песков.

Приходилось огибать резкий выступ горы, тропа круто сворачивала влево — и тут на пути моем вырос мир непонятого, неведомого величия. Все впереди он заполнил: явно было, что все навеки им запружено, что там конец всему, некуда двинуться дальше. Это было нечто ужасающе мрачное и белое. Я стал ошеломленный на пороге этого непонятого мира. Там было тяжелое волнение, чуть не целое море в бурю, да и шумело — бушевало что-то непрестанно в его глубине. И в то же самое время всему существу внушалась уверенность, что там уже вовек ничего не подвигнется, все немо и бездыханно. А чуть только обращались туда взоры, так и испуг одолевал, — а что, как захлынут человека, не двинувшись с места, а как-то одним присутствием своим, эти *мертвые волны*. И точно — чувствовалась перед собой страшная, но совсем, совсем мертвая сила: она угнетала взор, леденила жизнь в груди.

Дух ледника был так сверхъестествен, что он казался несуществующим, и вместе с тем, как наваждение, одолевал чувство.

Вот где наконец, думалось душе, твердыня скованных титанов, обитель бессмертного Кощея. Здесь — чары смерти, которая облачается в подобие жизни — вот она, в этой коварной игре голубых и зеленых теней внизу, на мелко расколотых, точно истолченных пластах льдов — и может так умертвить живого. Но в этот потаенный закоулочек земли случилось забрести в старину разве лишь странствующему рыцарю-повольнику. И каково-то должно было примерещиться это видение его душе?..

Над ледником отяготели серые тучи, и так тем более чудилось, что дальше больше ничего нет на свете.

Этот ледяной полдень, резко-серый, так замагнитизировал мой взор, что я не мог затем, в продолжение этого дня, ясно взирать на дневной свет. После чудовищного ледника мне не привелось уже бывать в таких заоблачных пределах. Но приходилось еще вдыхать в себя крепкий и легкий воздух нагих высот.

И вот снова столплялись кругом деревья и растения. Сначала сухие ели и тощие мхи, а там пышноли луга, вскоре затем разрастались дубы и липы, — и из финских краев путь вводил в среднегерманскую природу.

Очень было жаль, что в последние дни моих переходов по горам небо почти все часы в день было облачно. Все верхние зубцы гор подергивались их пеленой. И таким образом горы не подымали гордо голов, вдвигаясь в твердь, а бесформенно расплывались в мгlistом воздухе. Смутно чуялась величавая кар-

тина, но цельность ее была порвана, представлялись одни обрывки.

Не успев дописать это письмо в Люцерне, кончая его 5 июля, уже перенесшись через Альпы к их южным предгорьям, в страну североитальянских озер, на Лаго-Маджиоре. Я проведу дня три в здешнем городке Pallanza, а потом, через Симплон, совершу снова пешком обратный путь в недра Альп к Сен-Готардскому проходу.

Теперь я в новой жизни, новом свете, новом воздухе. Об Италии пока ничего не пишу, раз это требовало бы почти такого же объема.

Одно скажу — в глуши гор я стосковался по прозрачным закатам и ясным сумеркам, и погода обвевала холодом. Последние дни я в первый раз, в нынешнем году, ощутил жар лета, увидел виды, до невероятности пластично являющиеся в свете южного солнца, и над ними — яркое темное небо. Все это внушает душе ликование. И когда я в дивное ясное утро выехал из Люцерна по разбегающемуся во все стороны Фирвальшtedтскому озеру, я чувствовал себя воскресшим в ином лучезарном мире.

Тем не менее в середине июля думаю вернуться в Петербург и пожить там до начала августа. Если бы Вы пожелали мне ответить письмом, я по-прежнему предлагаю Вам отправить его мне на петербургский адрес.

Преданный Вам И. Ореус.

¹ Стихотворение напечатано с другой 4-й строкой под заглавием «В море». В изд. 1904 г. датировано: «31 мая <1898>. Балтика. Пароход Elbe».

² С. П. Семенову посвящены стихотворения Коневского «Starres Ich» («Проснулся я среди ночи. Что за мрак!..» — 16—17 августа 1896 г.) и «Набросок светотени» («Стезя войны грозна и безотрадн...» — 1898 г.). О С. П. Семенове есть ряд упоминаний в записной книжке Коневского (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, № 16, записная книжка № 3, л. 6 и др.; сообщено Э. Г. Минц). В феврале 1902 г. Брюсов встретил Семенова у отца Коневского — И. И. Ореуса (Брюсов В. Дневники, с. 116). О каком именно Нольде идет речь — установить не удалось.

³ Беклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник. Коневской был его горячим поклонником и считал, что «семидесятилетний Беклин моложе большинства художников современности». После посещения Мюнхенского, Берлинского и Базельского музеев, где хранились картины Беклина, он написал восторженную статью о его творчестве — «Живопись Беклина. (Лирическая характеристика)». В примечаниях к изд. 1904 г. (с. 245) по ошибке указано, что в Базельском музее Коневской был в июне 1897, а в Мюнхенском — в июне 1898 г.; в действительности — наоборот.

⁴ Стихотворение напечатано с некоторыми исправлениями под заглавием «В горах — пришелец». В изд. 1904 г. датировано: «24 июня <1898>. Brünigbahn (Schweiz)».

⁵ Limbo (от лат. limbus — кайма) — место (первый круг) католического ада, где, по церковному учению, находились души ветхозаветных праведников и куда отправлялись души младенцев, умерших до крещения. Сюда же Данте поместил всех добродетельных пехристиан. См. его «Божественную комедию» («Ад», песнь 4-я).

Прочтя Вашу заметку,¹ я признал в ней пример самого вредного для литературы отношения к писателю несложившемуся, а главное, крайнее бессилие выразить свои понятия и обосновать суждения.

Вот в чем я вижу это бессилие изложения и соображения. С одной стороны, книгу, по Вашим словам, нельзя оценивать, потому что читать ее невозможно, по крайней мере оговариваетесь Вы, чтение это требует большого усилия, а усвоить себе содержание даже — труд. Далее я рассматриваю, насколько позволителем вывод, что оценивать книгу нельзя, потому что критику усвоить ее содержание трудно. Но, казалось бы, что с объявления «книгу оценивать нельзя» следовало бы начать и затем поставить точку ко всей критике. Выходит наоборот. Утверждаем о невозможности оценки и чтения Ваши суждения заканчиваются, начинается же изложение с оценки самой уверенной: «язык безграмотен, стиль неряшлив, последовательность мыслей уродлива». Рассуждается о недостатках формы и даже последовательности мыслей того, чего оценивать нельзя, читать невозможно. Это ли последовательность мыслей у критика?

Другой образец внутреннего разногласия в понятиях. С самого начала утверждается, что содержание книги талантливо — и затем идут отрицательные суждения о форме и содержании, не оставляющие в них никаких достоинств. В чем же талант, когда талантливо писанным сочинением можно обозначить только такую речь, в которой налицо полное соответствие исполнения с замыслом? Из частного же разговора с Вами я узнал, что Вы в слове «талант» разумеете задатки таланта или силу и своеобразия ощущения и воображения. Не впадаете ли Вы, значит, в самые пагубные последствия приблизительности, неопределенности в употреблении выражений, смысл которых вообще колеблется, когда одно поставленное Вами слово лишает смысла все Ваши дальнейшие отрицательные утверждения? Вам ли стоять за точность обозначения, когда все Ваше изложение поражает нерадением о всяком переисследовании и перестановке ходячих общих терминов, между тем как это — первое дело для всякого начинающего самостоятельно мыслить. Более всего этим недостатком отмечены Ваши слова в характеристике Никольского. «Убеждения честного, благонамеренного закала», — «хороший, благородный и, собственно, необыкновенный человек; но его особенность, его резкое и большое достоинство: этот пессимизм не лишает его бодрости, — он благородный и порядочный человек, он ни в ком не нуждается и т. д.». Ведь все эти слова, а во втором отрывке даже связи мыслей — набор самых неопределенных условных понятий, которые ровно ничего не значат, если отвлечься от всяких сложных инстинктивных предположений.² Нигде в Ваших рассуждениях нельзя найти коренного

пересмотра условий, обуславливающих связь слов с понятиями. А между тем, я думаю, что прежде чем приступить к суждению о серьезных литературных явлениях, критик должен произвести тщательную переработку в установлении слов для понятий.

Из этой же случайности и шаблонности обозначений и определений возникает и отсутствие всякой доказательности и убедительности в Ваших оценках свойств формы. Каким недостаткам служат примерами все выписанные Вами места моих сочинений? ^а Это остается совершенно неизвестно. Если применять к ним перечисленные Вами общие определения недостатков, по поводу каждой цитаты присоединяется вопрос «почему?», да и к каждому из этих общих определений (особенно «безграмотность», «уродливость в последовательности мыслей») — «что это такое?», «что в этом разумеется?». В указании причин, которые обуславливают художественную негодность образов и оборотов, дело критики по возможности осмысленно выставить их несоответствие с общим замыслом всего сочинения или данного момента мысли и воображения. А во всех тех многочисленных случаях, когда это несоответствие только глухо ощущается, но не может поддаться сколько-нибудь разумному подтверждению, тогда, во всяком случае, дело критика составляет настойчиво, неустанно указывать на то обстоятельство, что его вывод происходит исключительно из личного впечатления, личного склада ощущений. Если условие это забывается, критик выдает свое инстинктивное применение отрицательного понятия к предмету своих суждений за умозаключение, которое имеет явную для всей человеческой мысли необходимость, и тогда всякий читатель всегда может бросить ему в глаза упрек в голословности и произвольности утверждений. Критику, который не умеет сделать свои выводы очевидными для всякого последовательного рассуждения, необходимо упорно опираться единственно на обособленный характер своего восприятия.

Таковы причины, обуславливающие в моих глазах полную неспособность Вашу сообщить Вашим суждениям малейшую доказательность и убедительность для внимательного мыслителя. Перехожу к тем сторонам Вашей критики, которые признаю особенно вредными для литературного развития в отношении критика к начинающему писателю. Эти стороны Вашего анализа возбудили во мне особенную вражду к Вашему первому критическому шагу. Как на препятствие к чтению и такой недостаток, который едва ли не отнимает право на оценку, Вы указываете на затруднительность в усвоении содержания для Вас лично, одного из читателей. Прежде всего такое признание со стороны критика

^а Тут же спешу отметить два примера грубого искажения в цитатах: 1) «врагам» — вместо «врачам»; 2) «развевя вновь спитрахиль», относящееся только к последующему главному предложению, карикатурно отнесено к предыдущему. (Примеч. И. Коневского).³

характеризует уже его восприимчивость и разумение в крайне неприглядном образе. Но меня указание на эти условия дела опечаливают более всего потому, что нет ничего более играющего в руку умственной дряблости и косности среднего читателя, нежели пени критиков против трудностей в понимании поэзии. При этих преобладающих слабостях состава читателей нельзя прилагать достаточных стараний к внушению того сознания, что все неудобопонятное для среднего человека составляет нечто помещенное безусловно сверх его личности, превосходящее всю сумму и существо его чувств и мыслей и потому лежащее вне его способности восприятия. Вполне верю, что Вам «усваивать содержание моей книги» было очень затруднительно, последовательность моих мыслей не могла не показаться Вам уродливой потому, что Вам грозит опасность сейчас же выпустить из рук нить мыслей, когда она начинает вычерчивать изгибы и извороты — прямолинейная «варварская» — как Вы сами выразились — организация Вашего разумения непреклонна как рог.⁶ Но все ж, если созвонать некоторое внутреннее значение и искреннее своеобразие моей книги, то, по-моему, жалобы на трудность ее усвоения не могут не идти вразрез с интересами всякого ценителя, который не сочувствует общечеловеческой заурядности и ничтожеству. Такие обвинения писателя в «трудности» в особенности могущественно могут содействовать поощрению общего пристрастия к «легкому чтению» и неприспособленности к своеобразию, если они исходят даже от представителей таких журналов, как «Мир искусства», которые задались целью утверждать вкусы и понятия, недоступные большинству людей. Я думаю, что всегда можно видеть некоторое ручательство глубокого смысла в тех усилиях, которые приходится прилагать к пониманию иного духа, потому что иногда затруднительность понимания происходит не из значительности содержания, но всякое уклонение от нормы, от средней степени и среднего качества человеческой душевной организации никогда не бывает лишено затруднительности к усвоению, не только для средней, но даже для другого рода исключительной личности. А для меня лично указанное явление уклонения и отступления от нормы человеческих душ представляет в стремлениях воли единственную ценностную деятельность, если не созерцательную (эстетическую). Конечно, у Вас другого рода стремления. Но потому же не могу не повторить, что для меня ненавистно всякое действие, которое может содействовать пренебрежению к исключительности, редкости, самобытности душевного склада. Недостатки в художественном выражении такого рода склада надлежит, конечно, настойчиво указывать,

⁶ Между тем, к сожалению, вся сила мыслителя — в умении лавировать во все стороны на ходу, уклоняться то влево, то вправо, сжимать и разжимать орбиту своего вращения и в довершение всего вращаться па своей оси. (Примеч. И. Коневаского).

но трудность к усвоению содержания не может принадлежать к недостаткам художественности, и указание на непосильность книги для читателя не может не потворствовать стадным человеческим способностям.

В добавление ко всему сказанному не могу не коснуться еще мелкой, но характерной точки. Меня очень удивили в характеристике «Книги раздумий» те преимущества, которые Вами отданы Бальмонту в сравнительном обзоре участников. Конечно, упреки к нему наиболее сдержанные, а одобрения самые значительные. В то время как Вы не раз выражали мне свое справедливое отвращение к этому поэтическому фокуснику, в данном месте Вами сделаны очень язвительные замечания о несложности настроения и притязательности формы у Брюсова, а в Бальмонте сдержанно признан лишь некоторый недостаток выразительности и поэтического движения. Между тем, на мой взгляд, который, мне кажется, и Вы разделяли, у него следовало бы отметить безусловную неискренность, умаляющую его перед всеми остальными участниками книги, а сложность настроений во всяком случае вдвое меньшую, нежели у Брюсова (не прельстились же Вы переложениями из Упанишад и Зенд-Авесты!),⁴ и, таким образом, меньшую литературную способность, чем у Дурнова, которого Вы все-таки называли мне как-то «талантливым» — в Вашем смысле.

Отношение к Бальмонту не менее прискорбно для меня, чем жалобы на трудность моей книги, потому что нет ничего более желательного, чем лишить всякого значения этого самого популярного из современных русских поэтов, который, конечно, уже теперь более известен в «большой публике», чем из прежних Случевский,⁵ а из новых — Сологуб. На примере Бальмонта уже во всем блеске выразил себя еще раз вечный «суд глупца»,⁶ и решительное предпочтение, оказанное перед ним совсем неизвестному иначе как в шутковской роли Брюсову, могло бы быть внушительным ударом против «общественного мнения».

Увы! видно из любви к лоску и литературному этикету, которым Вы не прочь полюбоваться и у Никольского, Вы простили многое даже ненавистному Вам поэту Безбрежности.⁷ Но что уже совсем не согласуется с Вашим классическим джентельменством, так это тот непочтительный тон, которым каждый раз Вы меня именовали в Ваших отзывах, в противоположность всем без изъятия остальным упоминавшимся лицам. Их имена Вы непременно сопровождали титулом «господин», а меня упорно его лишали. Если это не «амикошонство», то приходится примириться с такой бесцеремонностью как с принадлежностью отношения к учащемуся, раз книга моя есть «ученическая работа». Но ведь даже в высших учебных заведениях экзаменуемых вызывают, присоединяя почетный титул. Итак, я осужден был, очевидно, явиться перед Вашу классную кафедру в качестве литератур-

ного гимназиста. Горька расправа злоумышленной поэтической схоластики, которую Вы, доводя иронию до предела, назвали «доброжелательной критикой».

Апреля 12.
1900.

Иван Ореус.

¹ Речь идет о рецензии Вл. Гиппиуса (Мир искусства, 1900, № 5—6, с. 107—108) на сборник «Книга раздумий» (М., 1899), «Мечты и думы» И. Коневского и «Сборник стихотворений Б. В. Никольского».

² Никольский Борис Владимирович (1870—1919) — юрист, поэт и критик, человек реакционного образа мыслей. Пропущенные Коневским слова, обозначенные отточием: «мыслящий отвлеченно в духе философского пессимизма».

³ Примеры искажений в цитатах — из стихотворений «Посвящение „Джиаконде“ Винчи» и «На сон грядущий».

⁴ Имеются в виду стихотворения К. Бальмонта «Из Упанишад» и «Из Зенд-Авесты» (Книга раздумий, с. 11—12).

⁵ Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт, начавший свою литературную деятельность еще во второй половине 1850-х годов; его своеобразное творчество высоко ценили символисты, в том числе Брюсов.

⁶ Слова из стихотворения Пушкина «Поэту».

⁷ «В безбрежности» — заглавие одного из первых стихотворных сборников К. Д. Бальмонта (М., 1895).